

Николай Алексеевич Полевой. В. Г. Белинский belinskiyvissarion.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://belinskiyvissarion.ru/> Приятного чтения!

Николай Алексеевич Полевой. В. Г. Белинский

...На жизненных браздах
Мгновенной жатвой поколенья,
По тайной воле провиденья.
Восходят, зреют и падут,
Другие им вослед идут...{1}
Пушкин.

Всякая сфера деятельности бесконечно разнообразна и требует различных деятелей. С первого взгляда кажется, что науку может поднять и двинуть вперед только ученый, поэзию – поэт, литературу – литератор. Без всякого сомнения, без ученых наука не могла бы не только подниматься и двигаться, но даже и существовать, так же как и поэзия – без поэтов, литература – без литераторов; однакож тем не менее справедливо и то, что науке, искусству и литературе оказывали иногда величайшие услуги люди, которые ничего не писали и не были ни учеными, ни поэтами, ни литераторами. Нужно ли говорить, какое великое влияние на успехи литературы может иногда иметь книгопродавец-издатель? Вспомним Новикова. Этот человек, – столь мало у нас известный и оцененный (по причине почти совершенного отсутствия публичности), – имел сильное влияние на движение русской литературы и, следовательно, русской образованности. Сам он ничего или почти ничего не писал, но он обладал удивительною способностью заставлять писать других. Владея значительными средствами, он издавал множество книг в такое время, когда у нас почти вовсе не было книг. Но и в этом случае он действовал не как книгопродавец, хотя в то время и роль дельного книгопродавца была бы еще благодетельнее, нежели как могла бы она быть теперь. Нет! Новиков не был книгопродавцем: нажитья продажей книг нисколько не было его целью. Благородная натура этого человека постоянно одушевлялась высокою гражданскою страстию – разливать свет образования в своем отечестве. И он увидел могущественное средство для достижения этой цели в распространении в обществе страсти к чтению. Для чтения нужны книги и журналы, а их-то и не было тогда. И вот Новиков издает книги и журналы, всюду ищет молодых людей, способных или охотливых к книжному делу. Знающим иностранные языки он заказывает переводы, у стихотворцев печатает стихи, у прозаиков – прозу; всех одобряет и понуждает, бедным дает средства к образованию. Кому не известно, что сам Карамзин многим был обязан Новикову? Если бы это и несправедливо было приписано Новикову, все же это важный факт в его пользу. Когда явился Пушкин, всякое ходячее по рукам стихотворение, действительно хорошее или только казавшееся хорошим, приписывалось Пушкину, хотя бы и вовсе не принадлежало ему. Так и Новикову приписывалось издание всякой книги и одобрение всякого таланта: это выразительно указывает на его роль на сцене русской литературы...{2}

Но эта роль, как ни важна и ни велика она, имела определенный и ограниченный характер. Новикову нужно было во что бы то ни стало заохотить общество к чтению, давши ему средства удовлетворять этой охоте – книги и журналы. О направлении этой охоты он не думал, да и думать тогда об этом было рано. Он печатал почти все, что ни писалось, и считал за писателя всякого, кто только имел охоту писать для печати. Новиков не был архитектором: он приготавливал только строительные материалы и строительных мастеров. Давать литературе направление, действовать на нее лично – это роль людей другого рода. Но и для этой роли – повторяем – нужны не одни ученые и поэты.

Три человека, нисколько не бывшие поэтами, имели сильное влияние на русскую поэзию и вообще русскую изящную литературу в три различные эпохи ее исторического существования. Эти люди были – Ломоносов, Карамзин и Полевой... Каждый из них оказал свое влияние на литературу своим особенным образом, сообразно с обстоятельствами и требованиями своего времени.

Ломоносов, Карамзин – и Полевой!.. Как многих оскорбит такое сближение имен! Имена еще до сих пор играют в нашей литературе чрезвычайно важную роль, потому что для многих еще заменяют они идеи... Имена в нашей литературе – то же, что чины в нашей общественной жизни, то есть легкое внешнее средство оценивать человека... Не всякому дана способность судить верно о качествах человека и узнавать безошибочно, хорош он или нет. Так точно, не всякому дана способность судить верно об истинном значении и достоинстве писателя; но нет глупца и невежды, который бы, услышав громкое или известное имя, не догадался бы тотчас же, что

Николай Алексеевич Полевой. В. Г. Белинский belinskiyvissarion.ru это – большой сочинитель. Чем старше имя писателя, тем большим уважением пользуется оно (особенно со стороны людей, никогда не читавших этого писателя), – и поставить с ним рядом имя хотя бы и весьма известного, но еще живого или только недавно умершего писателя – значит рассердить насмерть множество людей, которым литература, по разным отношениям, близка к сердцу, а еще более людей, которым до литературы вовсе нет никакого дела... В настоящем случае мы делаем большой риск в этом отношении. Старики, которые и теперь считают Ломоносова вместе с Сумароковым и Херасковым образцовыми писателями, увидят страшную профанацию в сближении имени Полевого с именем Ломоносова. Но этих уже не много, и они будут жаловаться про себя и между собою; их дрожащие голоса не возвысятся среди общества, которое так молодо в отношении к ним, что уже не помнит пудренных кос с кошельками... Но что скажут те, которые с личностью и эпохой Карамзина сливают воспоминание о лучшем времени своей жизни; которые, наконец, помнят в Полевом человека, писавшего против Карамзина, хотя и после его смерти...{3} Что скажут бывшие журналисты, современники Полевого, и многие писатели и писаки, которых некогда уничтожал он своим журналом и у которых еще целы шрамы от глубоких ран, нанесенных его пером их самолюбию?.. Что скажут все они? – Пусть говорят, что хотят: страшен сон, да милостив бог!.. Истина выше людей и не должна бояться их, особенно истина об умершем человеке, могила которого требует суда, а не осуждения, должной справедливости, а не восторженных похвал ложных друзей или пристрастного ропота раненых самолюбий...

За Ломоносовым потомство не без основания утвердило имя основателя и отца русской поэзии и литературы. Что он был первый по времени русский поэт, – это так же очевидно, как и то, что Державин был первый по таланту русский поэт. Но Ломоносов, натура поэтическая, как всякая гениальная натура, тем не менее не был поэтом. Он поэтически чувствовал и мыслил, но не владел поэтическим даром творчества. Лучшая оценка в этом отношении была сделана ему Пушкиным:

«Ломоносов был великий человек. Между Петром 1-м и Екатериною П-ю он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет; он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом. Но в сем университете, профессор поэзии и элоквенции не что иное, как исправный чиновник, а не поэт, вдохновенный свыше, не оратор, мощно увлекающий. Однообразные и стеснительные формы, в кои отливал он свои мысли, дают его прозе ход утомительный и тяжелый. Эта схоластическая величавость, полу-славянская, полу-латинская, сделалась было необходимостью; к счастью, Карамзин освободил язык от чуждого ига и возвратил ему свободу, обратив его к живым источникам народного слова.

В Ломоносове нет ни чувства, ни воображения... Оды его, писанные по образцу тогдашних немецких стихотворцев, давно уже забытых в самой Германии, утомительны и надуты. Его влияние на словесность было вредное и до сих пор в ней отзывается. Высокопарность, изысканность, отвращение от простоты и точности, отсутствие всякой народности и оригинальности – вот следы, оставленные Ломоносовым. Ломоносов сам не дорожил своею поэзией и гораздо более заботился о своих химических опытах, нежели о должностных одах на высокаторжественный день тезоименитства и проч. С каким презрением говорит он о Сумарокове, страстном к своему искусству, об этом человеке, который ни о чем, кроме как о бедном своем рифмоторстве, не думает... Зато, с каким жаром говорит он о науках, о просвещении».{4}

В этих словах виден взгляд удивительно верный, но тем не менее односторонний. «Влияние Ломоносова на словесность было вредное и до сих пор в ней отзывается»: это так и не так в одно и то же время. Под статью Пушкина не выставлено года, когда она написана, и потому нам следует ограничиться уверенностью, что она была написана не раньше 1836 года, – десять или около того лет назад тому. В России все идет скоро, и десять лет для нас – много времени. В новой школе, которую сами враги ее почтили именем «натуральной»,{5} нет уже ни малейших следов ломоносовского влияния, следовательно, оно уже прошло. Даже в старой школе видно устарелое влияние Карамзина, но уже не Ломоносова. Если влияние последнего и было вредно, все же оно не было злом неизлечимым. С другой стороны, если и нельзя не согласиться, что влияние Ломоносова на русскую литературу было вредное, то из этого еще отнюдь не следует, чтобы оно не было необходимо. А что необходимо, то уже полезно, хотя бы с другой стороны и было вредно. Во время Ломоносова нам не нужно было народной поэзии: тогда великий вопрос – быть или не быть – заключался для нас не в народности, а в европеизме. Далеко ли ушел бы Ломоносов в науку, если бы, оставив без внимания ее успехи в Европе, стал хлопотать о науке русской, решился бы сделаться не нововводителем в этой

Николай Алексеевич Полевой. В. Г. Белинский belinskiyvissarion.ru области, а продолжателем трудов российских книжников и мудрецов, до него бывших?.. Первым благодетельным следствием возникавшей тогда литературы должно было быть отрешение общества не от национальности, а от непосредственного или бессознательного характера этой национальности. Мы должны были на время перестать быть русскими, чтобы потом сознательно сделаться русскими. Что влияние Ломоносова на литературу было надолго вредно, – это правда; но разве не правда и то, что и результаты реформы Петра Великого были во многих отношениях временно вредны? Однакож из этого ведь не следует, чтобы реформа Петра Великого не была в высочайшей степени полезна и благодетельна для России? – Ломоносов был Петром Великим нашей литературы. От его сочинений (кроме ученых) ничего не осталось теперь для нашего наслаждения; но многое ли осталось теперь и от учреждений Петра Великого и похожа ли сколько-нибудь Россия нашего времени на Россию Петра Великого? А между тем Россия нашего времени все-таки творение Петра Великого...

Суждение Пушкина о Ломоносове очень верно, как ответ на бессознательно восторженные возгласы слепых почитателей Ломоносова, которые и теперь, вопреки всякой очевидности, упорно хотят видеть в нем не только поэта, но еще и великого поэта, тогда как в сущности он не был ни то, *ни другое; но как окончательный приговор над Ломоносовым суждение о нем Пушкина – повторяем – односторонне. Имя основателя и отца русской литературы и поэзии по праву принадлежит этому великому человеку. Натура по преимуществу практическая, он был рожден реформатором и основателем. Не приписывая не принадлежащего ему титла поэта, нельзя не видеть, что он был превосходный стихотворец (версификатор). Если прибавить к этому его глубокое знание русского языка (хотя по духу и потребностям своего времени он и старался придавать ему полу-славянскую и полу-латинскую величавость), то нельзя не согласиться, что в отношении к стиху можно подумать, что Державин жил и писал прежде Ломоносова. Этого мало: в некоторых стихах Ломоносова, несмотря на их декламаторский и напыщенный тон, промелькивает иногда поэтическое чувство – отблеск его поэтической души. В словах наших нет противоречия: живая натура – всегда поэтическая натура, хотя из этого и несколько не следует, чтобы человек с живою натурою был непременно поэт: иначе и из Наполеона легко было бы сделать поэта и имя его внести в историю французской поэзии. Метрика, усвоенная Ломоносовым нашей поэзии, есть большая заслуга с его стороны. Некоторые думают, что ямбы, хорей, дактили, амфибрахии и анапесты не свойственны просодической натуре русского языка. Говорят, будто сам Пушкин впоследствии ставил себе в вину, что своими дивными стихами окончательно и безвозвратно утвердил эти размеры за русскою поэзию и будто он хотел воротиться к размерам наших народных песен, для чего и написал свою «Сказку о рыбаке и рыбке». Если это правда, – это была ошибка со стороны великого поэта. Метр народных песен был хорош для выражения бедного круга понятий, выражаемых ими; но и в этом круге он далеко не исчерпывал просодического богатства русского языка; для выражения же новой бесконечно разнообразной и широкой сферы понятий он был бы совершенно недостаточен и крайне однообразен. Версификация Ломоносова недаром утверждалась: она сродна духу русского языка и сама в себе носила свою силу, от этого все попытки заменить ее были и будут бесплодны. {6}

Что касается до славяно-латино-немецких периодов Ломоносова, напыщенности его речи, нам теперь до всего этого так же мало дела, как и до странных костюмов эпохи Петра Великого: то и другое заменено теперь лучшим. По словам Пушкина, Карамзин к счастью освободил наш язык от чуждого ига. Слово: к счастью указывает как бы на случайность, тогда как тут была необходимость, и Карамзин – или кто бы ни был, лишь бы с такими же способностями – не мог бы после Ломоносова сделать ничего другого, кроме этого освобождения языка от чуждого ига. Карамзин, разрушив дело Ломоносова, тем самым только продолжал его. Великий реформатор приходит не с тем, чтобы разрушить, а с тем, чтобы создать, разрушая...

Но точно ли Карамзин возвратил свободу нашему языку и обратил его к живым источникам народного слова? Известно, что его прозаический слог делится на две эпохи – доисторическую и историческую, то есть что слог его «Истории государства российского» резко отличается от слога всех его сочинений, предшествовавших ей. Доисторический слог Карамзина был великим шагом вперед со стороны и языка литературы русской: в этом нет никакого сомнения. Но не менее несомненно и то, что это слог далеко еще не русский, хотя и несравненно более свойственный духу русского языка, нежели слог Ломоносова. Скажем более: не без причины восхищавший современников доисторический слог Карамзина теперь бледен и бесцветен. Он отнесется к настоящему русскому слогу, как язык новейших латинистов к языку Горация и Тацита. В нем и для иностранца, учащегося по-русски, будет все просто

Николай Алексеевич Полевой. В. Г. Белинский belinskiyvissarion.ru и легко, потому что иностранец не встретит в нем того, что называется идиотизмами, {7} то есть чисто русских оборотов, или руссизмов. Исторический же слог Карамзина слишком отзывается искусственной подделкою под язык летописей и слишком не лишен риторического оттенка. Впрочем, все это мы говорим не для унижения великого подвига Карамзина, а как бы в ответ на слова Пушкина, чтобы показать, что и Карамзин не сделал всего, как не сделал всего Ломоносов; и что относительно потомство вправе обвинять и Карамзина в тех же недостатках, в каких обвиняет Пушкин Ломоносова, но что тот и другой – и Ломоносов и Карамзин – оба сделали именно то, что нужно было сделать в их время, и, следовательно, обоим им равно принадлежит вечная честь великого подвига...

Карамзин явился в то самое время, когда направление, данное Ломоносовым литературе, так сказать, истощило само себя и обратилось в застой. В духе этого направления уже ничего нельзя было делать. В самой литературе обнаружилась ему реакция: язык и самый характер сочинений Фонвизина уже отошли от ломоносовского типа. Позднее Макаров, независимо от Карамзина, начал переводить и писать языком совершенно карамзинским. {8} Нужен был только человек, который по своим интеллектуальным средствам был бы способен завладеть общественным мнением и стать во главе литературного движения. Таким человеком явился Карамзин. Он был для своей эпохи всем: и реформатором, и теоретиком, и практиком, и стихотворцем, и прозаиком, и поэтом, и журналистом, лириком, сказочником, нувеллистом, археологом. Его стихи учились наизусть, его повести, особенно «Бедная Лиза» и «Марфа Посадница», сводили с ума всю публику. И хотя Карамзин нисколько не был поэтом, тем не менее этот успех был вполне заслуженный. Его «Письма русского путешественника» познакомили тогдашнее общество с Европою, которая только для высшего слоя его не была terra incognita [1], – и в этом отношении Карамзин был истинным Колумбом. Письма Фонвизина из Франции были несравненно дельнее «Писем русского путешественника», {9} но они не могли произвести на общество такого влияния, потому что были понятны только для людей, знакомых с состоянием дел в Европе того времени, а всем другим могли сообщить о ней самое превратное понятие. Письма Фонвизина так дельны, что только теперь настало время для их настоящей оценки. Но во времена переходные, в эпохи преобразований, часто бывают нужнее и полезнее те легкие произведения, которые, могущественно увлекая толпу, тотчас умирают, как скоро сделают свое дело. И вот где самая слабая, а вместе с тем и самая важная сторона литературной деятельности Карамзина. Он не принадлежит к числу тех писателей, творения которых всегда свежи и юны, не знают ни старости, ни смерти. Нет, к чему лицемерить! «Бедная Лиза», «Наталья, боярская дочь», «Счастливей Карло», «Марфа Посадница», «Остров Борнгольм» – все эти и другие повести Карамзина для одних теперь дороги только как воспоминание о светлых днях юности, как память о сказочке нянюшки, под рассказ которой когда-то сладко было засыпать; для других они интересны как стародавние костюмы, как факты образования и развития общества во времена давнопрошедшие; но читать их для эстетического наслаждения, читать их как поэтические произведения теперь никто не будет... Еще в то время, когда авторитет Карамзина только стремился к своей апогее, равно как и в то время, когда он достиг ее, появились Крылов, Жуковский и Батюшков – поэты по натуре, люди, призванные давать неувядаемые образцы настоящей поэзии, а не преходящей беллетристики только. Имя Пушкина уже прогремело по всей России, когда умер Карамзин...

Но все это служит не к уменьшению заслуг Карамзина, а к определению рода и характера его литературной деятельности. Если его творения, как говорится, отжили свое время, тем не менее имя его будет всегда знаменито и почтенно, если хотите – бессмертно: его навсегда сохранит не только история литературы, но и благодарная память образованной части народа русского.

Новиков старался распространить в русском обществе охоту к чтению множеством книг; Карамзин делал то же самое, но уже заманчивостью сочинений. Удивительно ли, что он более Новикова успел в своем деле? Он создал в России многочисленный в сравнении с прежним класс читателей, создал, можно сказать, нечто вроде публики, потому что образованный им класс читателей получил уже известное направление, известный вкус, следовательно, отличался более или менее характером единства. До Карамзина этого не было на Руси. Его читатели относились к прежним, как относятся люди с гастрономическими замашками к людям, которые без разбору едят все, что ни поставят перед ними, ничем особенно не услаждаясь, ничем не оскорбляясь. Это был безмерный шаг вперед. Повести Карамзина, извлекая столько слез из очей его нежных читателей и столько вздохов из груди его чувствительных читателей, нисколько не были произведениями поэзии как искусства, как творчества; но тем не менее они были для своего времени прекрасными

Николай Алексеевич Полевой. В. Г. Белинский belinskiyvissarion.ru
беллетристическими произведениями человека с большим дарованием. Самая сентиментальности направления вообще всего написанного Карамзиным, имеет свое великое достоинство: она была необходима, как для своего времени была необходима схоластическая напыщенность Ломоносова. Это было новою ступенью, новым шагом вперед начавшей развиваться литературы. До Карамзина у нас были периодические издания, но не было ни одного журнала: он первый дал нам его. Его «Московский журнал» и «Вестник Европы» были для своего времени явлением удивительным и огромным, особенно если сравнить их не только с бывшими до них, но и с бывшими после них на Руси журналами, до самого «Московского телеграфа»... Какое разнообразие, какая свежесть, какой такт в выборе статей, какое умное, живое передавание политических новостей, столь интересных в то время! Какая по тому времени умная и ловкая критика!

К чему ни обратитесь в нашей литературе – всему начало положено Карамзиным: журналистике, критике, повести-роману, повести исторической, публицизму, изучению истории. Мы не говорим уже о его стихотворстве, имевшем большую цену для своего времени; ни о его «Истории государства российского», положившей начало дельному, ученому изучению русской истории и давшей для этого возможность. В «Истории государства российского» – весь Карамзин, со всею огромностью оказанных им России услуг и со всею несостоятельностью на безусловное достоинство в будущем своих творений. Причина этого – повторяем – заключается в роде и характере его литературной деятельности. Если он был велик, то не как художник-поэт, не как мыслитель-писатель, а как практический деятель, призванный проложить дорогу среди непроходимых дебрей, расчистить арену для будущих деятелей, приготовить материалы, чтобы гениальные писатели в разных родах не были остановлены на ходу своем необходимостью предварительных работ. Державин был гениальный поэт по своей натуре, но если он не явился таким же по своим творениям, это потому именно, что прежде его был только Ломоносов, а не Карамзин, тогда как для Пушкина было большим счастьем явиться уже на закате дней Карамзина... Это вполне определяет нашу мысль о сущности деятельности и заслуг Карамзина. Он, сказали мы, создал на Руси если еще не публику, то возможность публики, нечто вроде публики: подвиг великий, но для которого требовался не гений, обыкновенно устремляющий все силы свои в одну сторону, на один предмет, а энциклопедический, разнообразный талант.

Сильно было движение, сообщенное нашей литературе Карамзиным. И оно принесло свои плоды. При полном владычестве и очаровании имени Карамзина тихо и незаметно возникало то новое, которое должно было сменить собою карамзинскую эпоху. Но новый дух не создавал своих прав и охотно подчинялся влиянию Карамзина. Крылов считался не больше, как замечательным после Дмитриева баснописцем, и действительно, самобытность его таланта проявлялась только изредка; но большую часть он или подражал в своих баснях Лафонтену, или морализировал в них в пользу и назидание детей. Жуковского, пересадившего романтизм на почву русской литературы, все похваливали, но немногие подозревали его истинное значение. Батюшков, основатель пластически-художественного элемента в русской поэзии, восхищал своих современников совсем не тем, что составляло величайшее достоинство его музы, родственной музе эллинской. Все эти люди смотрели на Карамзина, как на своего учителя и хорега; все они находились под влиянием его идей. Очевидно, что это была школа, или, лучше сказать, это были школы новые, но переходные и потому не решительные, из которых ни одна не была в силах стоять в главе движения и руководить им. Все как будто колебалось между прошедшим и будущим и только ждало человека, который сделал бы решительный шаг. И этот человек не замедлил явиться: то был Пушкин... С ним явилась новая школа поэзии, не совсем удачно провозглашенная «романтической»...

С Пушкиным почти исчезли из русской поэзии все следы карамзинского направления. Новое время и новое положение вещей дали поэту той эпохи другое направление. Но он был силен не столько силою времени, сколько своею глубоко художественною натурою: вот что с первого же шагу эманципировало его от влияния Карамзина. Первоначальному направлению своему он изменил впоследствии, именно потому, что источник его скрывался в современности, а не в натуре его. Как человек Пушкин отразил на себе всю неопределенность и шаткость направлений и убеждений своего времени, и в уме его как-то странно уживались вместе тенденции поэта и помещика, человека и дворянина, мещанина и аристократа. Как поэт Пушкин противоречил себе как человеку, по крайней мере везде, где был он верен своей артистической натуре, где он был преимущественно художником. Повторяем: сила его всегда была в его художественной натуре. Становясь человеком (лицом частным – particulier), он суеверно благоговел пред карамзинскими идеями; становясь поэтом, он опережал их

Пушкин был главою поэтического движения. Но времена переменились: если уже беллетрист-публицист не мог быть главою литературной эпохи, то и один поэт, как бы ни был он велик, уже не мог удовлетворить собою всем требованиям эпохи. До какой степени эта эпоха резко отделилась от предшествовавшей, можно видеть из обстоятельств появления Пушкина на литературное поприще. Прежде все поэты принимались безусловно, и каждому, кому только ни захотелось бы в поэтические боги, готово было почетное место в капище поэзии. Когда явился Карамзин, ограниченный круг тогдашних читателей почти с равным восторгом произносил имена Кантемира, Ломоносова, Сумарокова, Хераскова, Петрова, Державина. Сам Карамзин высоко поставил Богдановича. Первые опыты Карамзина приняты были всеми с восхищением. Появление Жуковского и Батюшкова не возбудило никакого ропота. И только некоторые сомнения в безусловном достоинстве Сумарокова и Хераскова, обнаруженные Мерзляковым (1815 года), да юношески рьяная нападка на Хераскова со стороны студента Строева, [2] несколько нарушили аркадскую безмятежность, с которою весь пишущий люд пользовался заслуженною и незаслуженною славою. Явившись на поприще литературной деятельности, Карамзин принял все авторитеты; по крайней мере не счел нужным восставать против тех, которых не признавал втайне. Сам он был вполне главою литературной эпохи и из новых писателей только Дмитриеву уступал пальму первенства в стихотворстве. Во всем прочем он безусловно первенствовал в литературе и был в ней не только первым литератором, но и первым поэтом, как нувеллист-романист. И это первенство было безусловно признано всеми. Нападки на Карамзина славянофилов того времени, под предводительством Шишкова, касались одного языка и были притом слишком ничтожны сами по себе, потому что на стороне пуристов были только книжники, а на стороне Карамзина вся публика. Не так был принят Пушкин. Он был слишком велик, чтобы тотчас же быть понятым и оцененным всеми. И потому его встретили с одной стороны восторженные клики молодого поколения, а с другой – ожесточенная брань теоретиков и людей привычки, для которых хорошо все старое и дурно все новое. Притом же хотя поэзия Пушкина в смысле исторического развития и была, так сказать, результатом поэтических усилий всех прежде него бывших поэтов, от Ломоносова до Жуковского и Батюшкова, тем не менее, она была и их отрицанием. По крайней мере так могло казаться с первого взгляда. Тогда естественно многим могла притти в голову такая дилемма: «Если сочинения Пушкина, писанные вопреки всем правилам, извлеченным из творений великих гениев и утвержденным веками, если они – истинные поэтические произведения, то произведения наших великих поэтов (Ломоносова, Сумарокова, Хераскова, Петрова, Державина, Богдановича), писанные по вековым правилам, уже не истинные поэтические творения». Это их по инстинкту решило не признавать в Пушкине поэта [10] или по крайней мере видеть в нем не более, как обыкновенный талант, способный писать только без правил. С своей стороны восторженные почитатели Пушкина естественным образом доходили до такой же несправедливости в отношении к его предшественникам на поэтическом поприще. Так всегда разделяет людей на две крайние стороны всякая резкая реформа. Тогда литература стала вопросом, с которым незаметно слились многие вопросы о жизни. Вопрос должен был родить живые споры, упорные битвы за мнения, ареною которых должна была сделаться журналистика.

Теперь понятна роль Полевого в нашей литературе. Она условливалась обстоятельствами. По роду своих способностей Полевой имел большое сходство с Карамзиным: его доставало на все – на повесть, на роман, на драму, на стихи, на историю. Но играть первую роль в литературе для него было уже невозможно, потому что тогда был Пушкин, а при истинном великом поэте нельзя играть роль поэта человеку, не рожденному поэтом. Сверх того, Полевой в вопросе о поэзии находился под влиянием Пушкина, как живой практики всех теорий о поэзии; но Пушкин в этом отношении ни с какой стороны не мог находиться ни под чьим влиянием, потому что сам мог черпать идеи из того же источника, который служил всякому журналисту: то есть из личного знакомства с иностранными литературами. В этом отношении Пушкин был одним из образованнейших людей своей эпохи и уж, конечно, не из русских журналов мог учиться и следить за ходом европейского развития.

Но несмотря на это, Полевому предстояла роль деятельная и блестящая, вполне сообразная с его натурою и способностями. Он был рожден на то, чтоб быть журналистом, и был им по призванию, а не по случаю. Чтоб оценить его журнальную деятельность и ее огромное влияние на русскую литературу, необходимо взглянуть на состояние, в котором находилась тогда литература и особенно журналистика. Первые опыты Пушкина огласились во всей России, проникли во все ее захолустья, в

Николай Алексеевич Полевой. В. Г. Белинский belinskiyvissarion.ru
которые дотоле проникали только буквари и сонники. Масса читателей увеличилась через это по крайней мере вдесятеро и стала походить на публику. Везде чувствовалась потребность в определенном вкусе, следовательно, и в теории. А этого-то тогда не было. Все авторитеты стояли на неприступной высоте; Сумарокова считали великим писателем; между Ломоносовым и Державиным не видели никакой разницы; басни Крылова считались ниже басен Дмитриева. Великих писателей было без счету, и об них позволялось говорить одни только похвальные фразы, которые давно уже обратились в общие места. Литературные нравы вполне соответствовали таким литературным понятиям. Молодой человек, желавший попасть в писатели, должен был прежде всего найти себе мецената или между знаменитыми писателями, или между знаменитыми покровителями литературы, затем должен был добиться лестной чести – попасть на литературные вечера своего мецената. Там предстоял ему долгий искуc: прежде всего он обязан был «не сметь свое суждение иметь»; его дело было слушать умные речи опытных людей, молча или словесно во всем соглашаться с ними. Только со временем, уже приобретя лестную репутацию грибоедовского Молчалина, мог он дерзнуть попросить позволения прочесть свое первое произведение. Прочтя его, он выслушивал критику и советы, обязан был переменять, переправлять и переделывать каждую строку, каждое слово, которое не одобрялось кем-либо из опытных и почтенных знатоков словесности. Сто раз переделанное и переправленное, его детище поступало, наконец, в печать. Еще лет десяток – и литература русская обогачалась в лице этого новичанца или писателем с талантом, но уже без всякой самостоятельности, или дюжинным писакою. Во всяком случае он поступал тогда с благословения своих меценатов в число опытных и знаменитых писателей, и все верили, что он большой писатель, потому что за него ручались не его сочинения, а такие знаменитые авторитеты. Затем он сам попадал в авторитеты и в меценаты и в отношении к другим играл такую же курьезную роль, какую играли в отношении к нему знаменитости, которые «вывели его в люди». Теперь это невероятно, а тогда было так!

Свежо предание, а верится с трудом!
Всякое независимое, самобытное мнение, всякий свежий голос, все, что не отзывалось рутинною, преданием, авторитетом, общим местом, ходячею фразою, – все это считалось ересью, дерзостью, чуть не буйством...

А журналы тогдашние?.. «Вестник Европы», вышедши из-под редакции Карамзина, только под кратковременным заведыванием Жуковского напоминал о своем прежнем достоинстве. Затем он становился все суше, скучнее и пустее, наконец, сделался просто сборником статей, без направления, без мысли, и потерял совершенно свой журнальный характер. {11} Конечно, всегда, даже в самые худшие годы свои, был он лучше всех журналов, существовавших в России до «Московского журнала», издававшегося Карамзиным в 1791 и 1792 годах. И не диво: благодаря Карамзину ему и не было возможно быть хуже их; но он должен был бы считать своею обязанностью быть лучше даже карамзинского «Вестника Европы», потому что с тех пор, как Карамзин оставил его (с 1804 года), много прошло времени, и от издателя уже не требовалось таланта Карамзина, чтобы возвысить и улучшить начатый им журнал. Но вышло не так. В начале двадцатых годов «Вестник Европы» был идеалом мертвенности, сухости, скуки и какой-то старческой заплесневелости. О других журналах не стоит и говорить: иные из них были сравнительно лучше «Вестника Европы», но не как журналы с мнением и направлением, а только как сборники разных статей. «Сын отечества» даже принимал на свои до крайности серые и жесткие листки стихотворения Пушкина, Баратынского и других поэтов новой тогда школы, даже открыто взял на себя обязанность защищать эту школу; но тем не менее сам он представлял собою смесь старого с новым и отсутствие всяких начал, всего, что похоже на определенное и ни в чем не противоречащее себе мнение. Как судил и рядил «Сын отечества» об искусстве даже в последствии, можно видеть из его определения романтизма, который, по его мнению, начался с Байрона и отличается от классицизма тем, что начинает с половины или даже с конца дела!.. {12}

Вообще должно заметить, что война за так называемый романтизм против так называемого классицизма была начата не Полевым. Романтическое брожение было общим между молодежью того времени. Острые и бойкие полемические статейки Марлинского против литературных староверов, печатавшиеся в «Сыне отечества», и его же так называемые обзоры русской словесности, печатавшиеся в известном тогда альманахе; трехмесячный сборник «Мнемозина» {13} – все это выразило собою совершенно новое направление литературы, которого органом был «Телеграф», и все это несколькими годами упредило появление «Телеграфа». Следовательно, Полевой не был ни первым, ни единственным представителем нового направления русской литературы, как Карамзин был в свое время первым и почти единственным

Николай Алексеевич Полевой. В. Г. Белинский belinskiyvissarion.ru представителем нового направления, почти им же одним и произведенного, потому что подле его имени в этом деле можно вспомнить только два других имени – Макарова и Дмитриева. Но это несколько не уменьшает заслуги Полевого: мы увидим, что он сумел на своем пути стать выше всех соперничеств и даже восторжествовать в борьбе против всех враждебных соревнований.

Романтизм – вот слово, которое было написано на знамени этого смелого, неутомимого и даровитого бойца, – слово, которое отстаивал он даже и тогда, когда потеряло оно свое прежнее значение и когда уже не было против кого отстаивать его!.. Что же такое этот «романтизм», который наполнял собою целую литературную эпоху, за который было столько чернильных войн, столько полемических битв на жизнь и на смерть? Когда мы впервые услышали это слово, в европейских литературах уже давно кипели страшные войны за него. Но не везде он имел одинаковое значение. Первое движение в его пользу обнаружилось в Германии, как реакция влиянию французской литературы, как протест в пользу немецкой национальности в литературе. В своей настоящей, современной действительности Германия не видела, по известным причинам, никаких национальных элементов и обратилась к своему прошедшему, к своим средним векам, к рыцарским замкам с их башнями и подъемными мостами, с их поэтическим варварством и романтической красотой их нравов. Гёте и Шиллер не были вполне представителями этого романтического движения, но заплатили ему не малую дань, особенно последний. Потом немецкий романтизм начал принимать новое направление как реакция сухой и обнаженной простоты протестантизма, как усилие в пользу мистицизма средних веков и против философского рационализма. Жаркими поборниками этого направления явились братья Шлегели. Думая найти всякую опору своим теориям в посредственном, но зато ультраромантическом поэте Тике, они провозгласили его великим поэтом и даже имели жалкую смелость противопоставлять его Гёте. Теперь эта затея на больше, как воспоминание: романтизм, на время искусно воскрешенный, давно уже вновь опочил сном непробудным. Шлегелей нет, а Тике удивляется только редущая толпа стариков, скудно вознаграждая его этим удивлением за насмешки и презрение молодых поколений... В Англии романтизм был освобождением от влияния французского классицизма, принятого школою Попе, Аддисона и Драйдена. Байрон и не думал быть романтиком в смысле поборника средних веков: он смотрел не назад, а вперед. Романтизм во Франции сперва был реакцией революционному рационализму и явился в ней с Шатобрианом, этим рыцарем Реставрации.{14} Потом французский романтизм превратился в простой, чисто литературный вопрос о свободе поэтических форм, до уродливости сжатых и искаженных прежним классицизмом. В сущности, дело тут шло о том, которая школа натуральнее – Расина или Шекспира, и можно ли в трагедии вводить лица низших сословий и патетическое мешать с комическим. Представителем этого романтического движения во Франции был Виктор Гюго, поэт даровитый, но отнюдь не гениальный, более богатый воображением, нежели тактом истины. По чувству противоречия он дошел до величайших нелепостей: вместо того чтобы отрицать в прежней псевдоклассической школе одни ее крайности, он почел за нужное итти ей наперекор даже и в том, что составляло ее истинное и высокое достоинство, что делало ее глубоко национальной: чувство меры и постоянное присутствие того, что французы называют *le bon sens*{3}. Он дошел до того, что гордо объявил чудовищное прекрасным: *le laid, c'est le beau*...{15} Подчиняясь немецкому влиянию, он ринулся в средние века, но вынес оттуда только одни нелепые преувеличения. Гюго имел свою минуту торжества, но давно уже во Франции и он и романтизм не больше, как предание... Свобода формы выиграна и утверждена, и теперь никто не держится там условных и стеснительных форм псевдоклассицизма, но за это никого уже не называют там «романтиком».

Само собою разумеется, что у нас романтизм не мог иметь никакого соотношения ни с католицизмом, ни с средними веками. Он мог бы еще быть стремлением к лирической, субъективной настроенности в поэзии, усилием сделать поэзию, – выражением преимущественно внутренних тайн сердца, мистики человеческой личности, потому что такое направление поэзии есть действительно романтическое. Но Жуковский уже ввел в нашу поэзию этот романтизм гораздо прежде, нежели слово «романтизм» сделалось известным в нашей литературе. И однакож Жуковского ни тогда, ни после никто не называл романтиком: это название было утверждено общим голосом за Пушкиным, который и по своей натуре, и по характеру своей поэзии несравненно меньше Жуковского был романтиком. За что же прослыл он таким ультраромантиком? – За то, что откинул в своих произведениях все старые формы и начал писать элегии и поэмы. Из этого ясно видно, что наш романтизм никогда не был ни чем другим, как реакцией стеснительным и условным формам, занятым нашу литературу у французской литературы. Новейший классицизм был не чем иным, как усилием подделываться под формы древних литератур, греческой и латинской,

Николай Алексеевич Полевой. В. Г. Белинский belinskiyvissarion.ru произведения которой были признаны классическими, то есть образцовыми, такими, которые могли читаться в училищах, в классах как непогрешительные образцы, достойные подражания. Потом дошли до убеждения, что писать хорошо можно не иначе, как рабски подражая древним. Разумеется, подражать древним можно было только в форме, а не в духе, но и это не могло не вредить добровольным подражателям, потому что это значило новый дух заковывать в старые и чуждые ему формы. Так и было во Франции. Но французские писатели, подражая древним, назвали самим себе и без собственного ведома, оставались верными своему национальному духу, тогда как их подражатели, думая быть греками и римлянами, были ровно ничем. Об уравнивании природы и духа, выражавшемся в пластически-прекрасной форме, никто не имел ни малейшего понятия, а все твердили только о знаменитом триединстве, плохо понятом из Аристотеля. Толковали, правда, и тогда, что в классическом искусстве форма преобладает над идеею, а в романтическом, наоборот – идея над формой. Но это, во-первых, не совсем было верно в отношении к древнему искусству, потому что в нем видно было примирение духа с природою, уравнивание идеи с формой, а не перевес формы над идеею. Равным образом не совсем верно судили и о романтизме, считая его представителями не только Шекспира, но и Байрона, – тогда как истинные представители романтизма были трубадуры и менестрели, а из известных поэтов разве только Петрарка и Дант, – первый в своих сонетах, исполненных мечтательной идеальной любви, а второй в своей чудовищной и тем не менее великой поэме, исполненной католических тенденций и богословских аллегорий и так полно отразившей в себе всю уродливо-величавую жизнь средних веков. Новейшее искусство скорее должно стремиться подойти к древнему, нежели к романтическому, оставаясь в сущности равно ни тем, ни другим. Все это теперь ясно как день. Но тогда вопрос был многосложен, и спорящие стороны не понимали ни себя, ни друг друга. Как ни бросались в философию, что ни твердили о внешнем и внутреннем, о форме и идее, но главным вопросом все-таки оставалось освобождение от условных правил, без нужды стеснявших вдохновение и отдалявших искусство от естественности, самобытности и народности.

Вопрос стоил споров, дело стоило битвы. Теперь на этом поле все тихо и мертво, забыты и побежденные и победители; но плоды победы остались, и литература навсегда освободилась от условных и стеснительных правил, связывавших вдохновение и стоявших непреодолимою плотиною для самобытности и народности. И первым поборником и пламенным бойцом является в этой битве Полевой как журналист, публицист, критик, литератор, беллетрист.

«Московский телеграф» был явлением необыкновенным во всех отношениях. Человек, почти вовсе неизвестный в литературе, нигде не учившийся, купец званием, берется за издание журнала, – и его журнал с первой же книжки изумляет всех живостию, свежестию, новостию, разнообразием, вкусом, хорошим языком, наконец, верностию в каждой строке однажды принятому и резко выразившемуся направлению. Такой журнал не мог бы не быть замеченным и в толпе хороших журналов, но среди мертвой, вялой, бесцветной, жалкой журналистики того времени он был изумительным явлением. И с первой до последней книжки своей издавался он в течение почти десяти лет с тою постоянною заботливостию, с тем вниманием, с тем неослабеваемым стремлением к улучшению, которых источником может быть только призвание и страсть. Первая мысль, которую тотчас же начал он развивать с энергиею и талантом, которая постоянно одушевляла его, была мысль о необходимости умственного движения, о необходимости следовать за успехами времени, улучшаться, идти вперед, избегать неподвижности и застоя, как главной причины гибели просвещения, образования, литературы. Эта мысль, теперь общее место даже для всякого невежды и глупца, тогда была новостью, которую почти все приняли за опасную ересь. Надо было развивать ее, повторять, твердить о ней, чтобы провести ее в общество, сделать ходячею истиною. И это совершил Полевой! Боже мой! как взъелись на него за эту мысль ученые невежды, бесталанные литераторы, плохие журналисты, закосневшие в предрассудках старики! И как усилилась эта буря негодования и злобы умною, оригинальною, чуждою предрассудков критикою «Московского телеграфа», высказывавшего свои мнения прямо, не сморевшего ни на какие авторитеты! И было из чего сердиться на этот журнал: нет возможности пересчитать все авторитеты, уничтоженные им! И сколько было тогда великих писателей, которые ничего путного не написали! Один дубовыми стишищами переложил расиновскую трагедию; другой написал мадригал Лилете и триолет Хлое; третий – дюжину плаксивых стишонков; четвертый – сентиментальную повесть; известность пятого была основана на статье, выкраденной из иностранной книги, а шестой просто выдал за свое сочинение забытый труд какого-нибудь старого русского писателя. «Московский телеграф» на все навел справки, все вспомнил, все

Николай Алексеевич Полевой. В. Г. Белинский belinskiyvissarion.ru вывел наружу... Многим сказал он, что их сочинения в свое время могли иметь свою относительную ценность, но что время их прошло и что теперь мальчики пишут лучше их, заслуженных и знаменитых авторов. На все на это нужно было тогда много смелости: в то время самое легкое замечание не в пользу автора или сочинения принималось за брань и ругательство и служило поводом ко множеству критик, антикритик, рекритик, ответов, возражений и пр. Считавшие себя обиженными не забывали этого; а кому приятно иметь бесчисленное множество врагов, иногда просто из ничего? Да, для этого нужно было больше, чем смелость – нужно было самоотвержение. Особенную ненависть навлек на себя Полевой со стороны ученого люда, учившегося по старым книгам и не подозревавшего, что могут быть новые и лучшие. Тогда-то раздались ожесточенные вопли: да что он, да кто он, где он учился, где его аттестаты, какие его ученые звания? он купец, торгаш, самоучка, всезнайка и т. п. Поверят ли, что многие «ученые», в своих выходках против Полевого, не стыдились делать намеки на его водочный завод – пятно, как сказал Пушкин, ужасное, как известно, всему нашему дворянству!.. Вот что, например, было сказано, между прочим, о Полевом в «Вестнике Европы» (1828 года, № 23, стр. 199): «Он прикидывает к ним (к поэтам) волчок критики с размаху, и определяет мигом, сколько в них поэтического угара...»

Загляните в современные «Московскому телеграфу» журналы, – и вы подумаете, что Полевой не умел иначе говорить, как страшными ругательствами, что журнал его был складочным местом полемики дурного тона, брани, дерзостей, лжей. Но пересмотрите «Московский телеграф» хоть за все время его существования, – и вы увидите, что всегда, в жару самой запальчивой полемики, он умел сохранять свое достоинство, уважать приличие и хороший тон и что в самых любезностях его противников было больше грубости и плоскости, нежели в его брани. Мы пишем не панегирик, не эклогу, а характеристику замечательного деятеля на поприще русской литературы, и потому мы не скажем не только того, чтобы Полевой никогда не ошибался, но и того, чтобы он всегда был беспристрастен в отношении к своим противникам, всегда умел отдавать им должную справедливость. Нет, он был человек, и притом постоянно раздражаемый самыми возмутительными в отношении к нему несправедливостями, ошибался и бывал не прав; но в истории человеческих дел вопрос не в том, кто был безупречен и непогрешителен, а в том, кто более других, относительно, по возможности, был справедлив или у кого сумма доброго стремления и добрых дел если не перевешивает недостатков и слабостей, то искупляет их... И в этом отношении издатель «Московского телеграфа» смело мог бы рассказать всему свету историю своих отношений к противникам, не скрывая своих промахов и ошибок, смело мог бы один противостать, целой их фаланге... Наведя справки, не трудно убедиться, что полемики в «Московском телеграфе» было не много, по крайней мере меньше, нежели в каждом из современных ему журналов, не говоря уже о том, что его полемические статьи всегда были умны, дельны, остроумны, ловки и приличны. И потому причину общего ожесточения против этого журнала должно искать не столько в полемических статьях, сколько в его критике и библиографии, где правда высказывалась столько же прямо, сколько и прилично, отчего и кусалась сильнее. До «Телеграфа» в нашей журналистике уклончивый тон принимали за одно с вежливым; старались как можно меньше говорить о писателях и сочинениях, а если говорили, то с тем; чтобы хвались общими избитыми фразами. Полевой показал первый, что литература – не игра в фанты, не детская забава, что искание истины есть ее главный предмет и что истина – не такая безделица, которую можно было бы жертвовать условным приличием и приязненным отношением. Изъявить публично такой образ мыслей в то время значило сделать страшную дерзость и выказать себя человеком «беспокойным», то есть хуже, чем безнравственным. Многие разделяют людей в нравственном отношении: на благонамеренных и беспокойных; первые не мешают другим обдѣлывать свои делишки, каковы бы они ни были, лишь бы только и им никто не мешал втихомолочку заниматься тем же самым; вторые никак не могут вытерпеть, чтобы не заговорить громко, узнавши, что их сосед, посредством справок и отношений, пустил по миру целое семейство, или

Когда весь город знает,
что у него ни за собой,
Ни за женой –

А смотришь помаленьку,

То домик выстроит, то купит деревеньку. {17}

И в литературном мире, даже и теперь, «благонамеренных» несравненно больше, нежели «беспокойных», а в то время, то есть до «Телеграфа», последних почти вовсе не было. И потому очень естественно, что этот журнал многим казался чудовищным явлением, именно потому, что здравый смысл, образованный вкус и истину ставил выше людей и ради их не щадил авторских самолюбий. Теперь с трудом

Николай Алексеевич Полевой. В. Г. Белинский belinskiyvissarion.ru
можно поверить, чтобы когда-нибудь могло быть таким образом и до такой степени; и это опять заслуга Полевого, и заслуга великая!

Это обстоятельство опять указывает на резкое различие роли Полевого от роли Карамзина на одном и том же, впрочем, поприще. Карамзин не был связан прошедшим, и ему не с чем было бороться, почему он и не оскорбил ничьего самолюбия, не возбудил ничьей вражды к себе, кроме завистников, бледный рой которых скоро должен был исчезнуть при быстрых успехах его славы и при общей любви к нему большинства образованного общества. Обстоятельства, положение литературы, дали Полевому роль бойца. Он не столько утверждал, сколько отрицал, не столько доказывал, сколько оспаривал. Кроме того, во время Карамзина было не до идей и вопросов, первых никто не спрашивал, вторых не было, общество было для них еще слишком молодо, неразвито и бессознательно. Спорили о фразах, хлопотали о правильности и чистоте языка, и все вопросы заключались в стилистике. Во всем остальном дело шло о том, чтобы педантическую, школьную литературу сделать светскою, общественною и общительною, равно привлекательною и для кабинетного труженика, и для делового человека, и для светского щеголя и светской дамы. И Карамзин это сделал не теориями, не спорами, а образчиками сочинений, которых требовал дух времени. Он был знаком хорошо и с французскою, и с немецкою, и с английскою литературами, но их влияние на него было больше внешнее, нежели внутреннее. Идеи XVIII века не волновали его, по крайней мере, этого не заметно в его сочинениях. Фонвизин, предшественник Карамзина, гораздо больше его был сыном своего века. Карамзин занял у XVIII века только сентиментальное направление и обожание природы, которую называл он Натурою, тоже сентиментальное, но не пантеистическое; о любви и всех сердечных склонностях говорил он как будто с голосу Руссо, но в сущности смотрел на них не больше, как на извинительные слабости человеческого естества. Вот все, чем ограничилось влияние на него века. Но через двадцать пять лет явились уже другие потребности, явилось стремление к сознанию, к исследованию, к анализу. Захотели узнать, что такое Шекспир и Байрон, Данте и Сервантес, Гёте и Шиллер, что такое Восток и классическая древность, что такое философия, политическая экономия и т. д., и все это свели на вопрос о классицизме и романтизме или, по крайней мере, к стати и некстати все это привязали к нему.

Все новые идеи, возникшие в Европе в начале XIX века, смутно доходили до русской любознательности и смутно отражались в ней. Это было время, когда хотели ломать и строить, но на половине ломки останавливались, чтобы сделать новую надстройку, а на половине стройки останавливались, чтобы кончить по-старому. Это была эпоха чисто переходная. И «Телеграф», верный своему названию, был полным представителем этой эпохи. В нем было много силы, энергии, жару, стремления, беспокойства, тревожности, он неусыпно следил за всеми движениями умственного развития в Европе и тотчас же передавал их так, как они отражались в его понятии; но вместе с тем все в нем было неопределенно, часто смутно, а иногда и противоречиво. Это давало полную возможность придирааться к нему людям, стоявшим вне умственного движения своей эпохи. И они не шутя считали себя неизмеримо выше Полевого и с важностию ловили и высчитывали его обмолвки, промахи, ошибки, не понимая, что их преимущество над ним состояло только в том, что они спали, а он жил и действовал: кто спит, тот, разумеется, не грешит, особенно если спит так крепко, что и во сне ничего не видит... Они гордо величали его то самоучкою, то недоучкою и на основании его ошибок (а часто и того, что только им казалось ошибками, то есть чего они не в состоянии были понять) доказывали, что он невежда и шарлатан. Правда, он учился самоучкою, и то, что другим давалось без труда, досталось ему страшными усилиями; но если этот путь к знанию не мог не повредить Полевому, более или менее разладивши его с систематичностию и методою, зато и принес ему большую пользу: спас его от школьных предрассудков, от педантизма и образовал из него публициста, которому нужно иметь дело не с аудиториею, а с обществом. Его все интересовало, ко всему влекло, и он учился с жаром, с упорством, с настойчивостью; но этот энциклопедизм, эта жажда всезнания, при житейских заботах, при издании журнала, естественно, не допускала его углубиться в какой-нибудь исключительный предмет, сделаться ученым. Неопределенность идей (свойство той эпохи) и поверхностность многостороннего знания (результат энциклопедического направления и самообразования) отзывались во многом, что писал он, особенно в его философских воззрениях; но он равно был чужд и невежества и шарлатанства, в которых его обвиняли противники. Натура живая и восприимчивая, он страстно увлекался всеми современными идеями, и его можно было обвинять только в том, что он часто понимал их по-своему, но не в том, чтобы он говорил о них, не понимая их. Журналист и беллетрист по призванию, человек практический по своей природе, он всегда был ясен и определен, когда не

Николай Алексеевич Полевой. В. Г. Белинский belinskiyvissarion.ru бросался в теорию, но говорил просто, как человек со вкусом, с здравым смыслом и с образованием. Немецкая философия сильно занимала его ум, но он знакомился с ее идеями не из прямого источника, недоступного для дилетантов и любителей философии, а из популярных лекций Кузена, – и его главная ошибка тут состояла в том, что этого беллетриста философии он, принял за главу философического движения, будто бы скончавшегося в Германии с Шеллингом. Даже и в этом отношении, может быть, составляющем самую слабую сторону образования Полевого, нельзя не удивляться его тревожной любознательности, за все хватавшейся, ко всему стремившейся, ничего не оставившей без внимания. Вместе с ним много вышло на литературную арену людей, основательно учившихся и потом называвших себя «учеными»; все они были против него одного; но что же сделали они, или что они делают теперь?.. Где свершение тех надежд, которые они подавали?.. Через два года после «Московского телеграфа» – явился «Московский вестник», за ним «Атеней» и «Галатей», даже дряхлый «Вестник Европы» оживился, ударился в ожесточенную полемику, схватился за феорию и даже философию, потом все они соединились в «Телескопе», чтобы сильнее ударить на своего общего врага; но они могли только поднять его своими нападками, ничего не сделавши ни для себя, ни для публики...{18}

Сначала в «Телеграфе» принимали участие, хотя и не большое, даже Жуковский и Пушкин, и весьма значительное участие принимал в нем князь Вяземский. Но вскоре участь этого журнала стала зависеть только от деятельности и таланта его издателя, постоянно вспомоществуемого только своим братом, К. А. Полевым;{19} но журнал от этого не упал, а год от году становился лучше. Этого мало: его не уронили даже две важные ошибки его издателя. Первая из них была – примирение с одним петербургским журналом и одною петербургскою газетою, после продолжительной и постоянной войны с ними.{20} Так как эта война делала особенную честь «Телеграфу», то примирение не могло не скомпрометировать его. Эта важная ошибка была следствием другой, еще важнейшей. В 1829 году Полевой напечатал в своем журнале критическую статью об «Истории государства российского». Статья была превосходно написана, мера заслуг Карамзина оценена в ней была верно, беспристрастно, с полным уважением к имени знаменитого писателя. Но чрез несколько месяцев явилось в «Телеграфе» объявление о скором выходе «Истории русского народа». Тогда поднялась против Полевого страшная буря: его статья об истории Карамзина объяснялась его противниками, как предисловие к объявлению о подписке на собственную историю. Но все эти вопли Полевому легко было сделать ничтожными и обратиться к собственной чести и к предосуждению своих противников: ему стоило только всегда сохранять тон должного уважения к Карамзину, даже доказывая его ошибки; но он не вытерпел – и досаду на своих противников стал вымещать на истории Карамзина. «История русского народа» явилась с двойным текстом: в одном была история, а в другом довольно нехладнокровные нападки на Карамзина, и каждому из этих текстов было отведено ровно по полустранице... Пожалеем о слабости замечательного человека, оказавшего литературе и общественному образованию великие заслуги; но не будем оправдывать его слабости или называть ее добродетелью..

К этой же эпохе «Телеграфа» относится и принятие им в свои сотрудники одного писателя, с его статьями, многоглаголивыми, широковещательными, плоскими и пошлыми, в которых, под формою ратования за новое, скрывались отсталость и страшная ограниченность в понятиях...{21} Но «Телеграф» вынес и этот сильный удар, им же самим нанесенный себе. – несмотря на все это, он не падал, а улучшался. Причина этого заключалась в личности его издателя. Он был литератором, журналистом и публицистом не по случаю, не из расчета, не от нечего делать, не по самолюбию, а по страсти, по призванию. Он никогда не negliжировал изданием своего журнала, каждую книжку его издавал с тщанием, обдуманно, не жалея ни труда, ни издержек. И при этом он владел тайною журнального дела, был одарен для него страшною способностью. Он постиг вполне значение журнала, как зеркала современности, и «современное» и «кстати» – были в руках его поистине два волшебные жезла, производившие чудеса. Пронесется ли слух о приезде Гумбольдта в Россию, он помещает статью о сочинениях Гумбольдта; умирает ли какая-нибудь европейская знаменитость, – в «Телеграфе» тотчас является ее биография, а если это ученый или поэт, то критическая оценка его произведений. Ни одна новость никогда не ускользала от деятельности этого журнала. И потому каждая книжка его была животрепещущею новостью, и каждая статья в ней была на своем месте, была кстати. Поэтому «Телеграф» совершенно был чужд недостатка, столь общего даже хорошим журналам: в нем никогда не было баласту, то есть таких статей, которых помещение не оправдывалось бы необходимостью... И потому, без всякого преувеличения, можно сказать положительно, что «Московский телеграф» был

Николай Алексеевич Полевой. В. Г. Белинский belinskiyvissarion.ru
решительно лучшим журналом в России, от начала журналистики.

В 1832, 1833 и 1834 годах «Телеграф», нисколько не ослабевая ни в энергии, ни в разнообразии, ни в достоинстве, тем не менее был уже в своей апогее, даже на повороте с нее. Он сделал свое дело и, попрежнему хлопоча о движении вперед, без собственного ведома и желания, наперекор самому себе, начал принимать характер коснения. В эти три года были напечатаны в нем большие критические разборы Полевого сочинений Державина, Жуковского, Пушкина и повести: «Блаженство безумия», «Живописец», «Эмма». В тех и других Полевой высказался вполне, в тех и других вполне выказались угол его зрения, сгиб его ума, характер его образования, равно как вполне отразилась его эпоха, с живою деятельностью, беспокойным тревожным движением, заносчивостью, юношеским жаром, простодушным убеждением, с полуфранцузскими тенденциями и полунемецкими идеями, с поверхностностью и неопределенностью в понятиях, с чувствами вместо мыслей, предощущениями вместо отчетливого сознания, часто с громкими словами и туманными фразами вместо теории, с смелостью, отвагою, одушевлением. В этих статьях и повестях Полевой как бы поспешил представить результат своей журнальной деятельности, разом целостно и обдуманно высказав в них все, о чем говорил несколько лет отрывочно и случайно. Он как будто чувствовал, не сознавая этого ясно, что возникает в нашей литературе новое движение, ему неведомое и непонятное, – и торопился высказаться вполне и определенно. А новое между тем действительно возникало, – и Полевой отступил от Пушкина, как от отсталого поэта, в ту самую минуту, когда тот из поэта, подававшего великие надежды, начал становиться действительно великим поэтом; с первого же разу не понял он Гоголя и, по искреннему убеждению, навсегда остался при этом непонимании...{22}

С прекращением «Телеграфа» поприще Полевого, как журналиста, было кончено, и ему следовало ограничиться так называемыми солидными трудами – доканчивать свою историю, писать и издавать книги.. Но что прикажете делать с неугомонною журнальною натурою? Быть столько времени и с таким успехом первым голосом в журналистике – и слышать новые, дотоле безвестные голоса, которые поют уже совсем другую песню – на это у него не достало силы резиноваться. Из журналиста он пошел в сотрудники, расходился и вновь сходил с журналами, в которых участвовал, принимался было за редакцию новых – и только доказывал этим, что время его прошло невозвратно.. При этом, естественно, не мог он не увлекаться спорами, полемикою, выгоды которых уже не могли быть на его стороне.. Но довольно об этом: заслуги Полевого так велики, что, при мысли о них, нет ни охоты, ни силы распространяться о его ошибках...{23}

О его драмах мы ничего не скажем, кроме того, что они доказывают его удивительную способность быть всем в области беллетристики и во всем действовать с большим или меньшим успехом. Возьмись он за них в начале, а не в конце своего поприща, – и они, может быть, умножили бы его права на общую признательность.. Повести его потому именно и имеют свое относительное достоинство, что явились во-время. Не долго нравились они, но нравились сильно, читались с жадностью. В них он был верен себе, и для него они были только особенною от журнальных статей формою для развития тех же тенденций, которые развивал он и в своих журнальных статьях. То же должно сказать и о его романах, из которых – «Клятва при гробе господнем» отличается местами замечательным умением пользоваться историческими источниками для романтических сцен и картин..{24}

Верен был он себе и в своей «Истории русского народа»: как во всем, что ни написал он, и в ней был он журналистом, а не историком. В этом ее слабая сторона, но в этом и ее относительные достоинства. Он взялся за нее не по призванию, однакож и не из расчета, как утверждали это его противники, а по страстному влечению своей журнальной природы – все представлять в новом виде, ко всему прилагать новые идеи. Ему казалось, что смутный хаос, образовавшийся в его голове из идей Гердера, Шеллинга, Гизо и Тьерри, очень удобоприможим к русской истории. Это значило вовсе не понять русской истории, и не нужно говорить, что из этого вышло. Истина взяла, наконец, свое, и последние томы «Истории русского народа» уже очень похожи на «Историю государства российского»...{25} Конечно, нельзя сказать, чтобы в первой не было ничего дельным образом нового, но в сущности история Полевого только возвысила историю Карамзина.. Это опять была ошибка, и очень важная, но ошибка, вышедшая из хорошего источника, ошибка человека умного и даровитого, думавшего быть дальше своей эпохи, но на деле бывшего только одним из самых резких ее выражений.. Впоследствии Полевой написал русскую историю для детей: это был труд простой, без претензий, и потому очень дельный и полезный, отличавшийся даже ясностью и картинностью исторического

Николай Алексеевич Полевой. В. Г. Белинский belinskiyvissarion.ru
изложения.

Полевой родился в купеческом семействе и готовился быть купцом. Ему было около двадцати лет от роду, когда решил он учиться и образоваться. Отец его, человек старого времени, неблагосклонно смотрел на его любовь к книгам, и Полевой занимался ими тайком. Кончив днем дела свои по торговле, ночью, вместо того чтобы спать, принимался он за ученье. Не всегда мог доставать он для этого огарок свечи, потому что отец его запретил ему сидеть по ночам. Не было свечи – он пользовался лунным светом; доставал свечу – и затыкал щелки своей комнаты, чтобы предательский свет огня не бросился в глаза отцу. В таких страшных, разрушительных для здоровья трудах провел он три года. В это время написал он статью о проезде императора Александра через Курск и послал ее в «Московские ведомости». Статья обратила на себя внимание курского губернатора, который захотел познакомиться с молодым автором. Это живо затронуло самолюбие старика-отца, и он позволил своему сыну заниматься книгами. У пьяного дьячка начал Полевой учиться латинскому и французскому языку и, пользуясь своей необыкновенной памятью, для начала выучил наизусть целый французский лексикон... Эта неудержимая страсть к учению, эта страшная сила воли в достижении цели и преодолении препятствий достаточно доказывают, что Полевой не был человеком обыкновенным. Почти двадцати двух лет начал он самоучкою учиться русской грамматике: это было около 1818 года, а в 1825 году, то есть через семь лет, Полевой был издателем лучшего журнала в России... Такие люди не часто являются, и гораздо легче попасть в доктора всех возможных наук, нежели сравниться с ними...

Закljučаем. Предлагаемая статья не есть ни памфлет, ни панегирик; мы старались без преувеличения оценить заслуги одного из замечательнейших деятелей русской литературы, не скрывая слабых сторон его литературной деятельности, но смотря на них *sine ira et studio*{26}. Пусть судят читатели, до какой степени успели мы в этом. Явится много толков о Полевом: одни будут без меры превозносить, другие без меры унижать его, те провозгласят его великим ученым, другие – великим романистом и нувелистом, третьи – чего доброго! – великим драматургом; но едва ли кто-нибудь признает его тем, чем он в самом деле был замечателен... Так думаем мы, хорошо зная современную литературу и ее деятелей... Дай бог, чтобы мы ошиблись в этом; но, во всяком случае, смеем думать, что голос наш, упредивший другие суждения, не будет бесполезен для тех, которые возьмутся судить о Полевом...

Комментарии

Настоящая статья завершает длительную и сложную историю отношений Белинского к Полевому (см. примеч. 116 в т. I наст. изд.).

Переход Полевого на реакционно-охранительные позиции, после закрытия «Московского телеграфа», вызвал резкий перелом в отношении к нему Белинского. Ренегат Полевой не заслуживал никакого снисхождения. Об этом Белинский писал к И. И. Панаеву 22 февраля 1839 года («Письма», т. I, стр. 313–314). В своих статьях критик вел неустанную борьбу с Полевым.

Смерть Полевого в начале 1846 года положила естественный конец этой борьбе и вместе с тем вызвала необходимость исторической оценки всей деятельности Полевого.

Эту задачу Белинский и выполнил в настоящей статье.

Примечания

1

Неведомая земля. – Ред.

2

Теперь почтенного археолога. В 1815 году он издавал журнал «Современный наблюдатель российской словесности», в котором от него порядком и дельно досталось «Россияде» и «Владимиру», к величайшему соблазну литературных староверов. {27}

3

Здравый смысл. – Ред.

Комментарии

1

Эпиграф из «Евгения Онегина», гл. II, строфа XXXVIII.

2

Замечание Белинского, что Новиков сам «почти ничего не писал», ошибочно. В. П. Семенников, автор специального исследования «Русские сатирические журналы 1769–1774 годов» (СПб, 1914), приходит к выводу, что «сам Новиков был автором существеннейшей части своих трех журналов». Карамзин был действительно близок к «Дружескому обществу» Новикова.

3

В «Московском телеграфе» 1829 года, № 12, Полевой напечатал критическую статью об «Истории государства Российского» Карамзина. Среди ревнителей авторитета Карамзина статья эта вызвала бурю негодования.

4

Высказывания Пушкина взяты Белинским из статья «Путешествие из Москвы в Петербург» (глава «Ломоносов»), написанной в 1833–1835 гг. и впервые опубликованной в посмертном собрании сочинений Пушкина под заглавием «Мысли на дороге».

5

См. вступительную заметку к статье «Петербургский сборник».

6

Попытка ревизии системы стихосложения, разработан. ной Ломоносовым, и ее замены так называемым русским «народным» стихом, принадлежала А. Х. Востокову («Опыт о русском стихосложении», 1812).

7

В современном языкознания более употребителен другой термин – идиома – для обозначения выражений, свойственных только одному языку и не поддающихся переводу на другие языки.

8

Издатель «Московского Меркурия» (1803) в других журналов, П. И. Макаров был убежденным сторонником обновления литературного языка и защищая карамзинскую реформу, борясь против А. С. Шишкова (см. «Сочинения и переводы П. И. Макарова», 2 ч., М., 1805).

9

Письма Д. И. Фонвизина, адресованные частью его сестре Ф. И. Фонвизиной и частью П. И. Панину, были написаны им во время заграничных путешествий (1777–1778 и 1784–1785). Они замечательны критическим отношением писателя к

Николай Алексеевич Полевой. В. Г. Белинский belinskiyvissarion.ru западноевропейской действительности. Жизнь и нравы высших кругов французского общества в последние годы существования «старого порядка» нашли в лице Фонвизина строгого критика.

10

Так в тексте брошюры 1846 года.

11

Карамзин основал журнал «Вестник Европы» в 1802 году и вел его до 1804 года. В 1805–1808, 1811–1813 и с 1815 до прекращения журнала в 1830 г. его редактировал М. Т. Каченовский. Каченовский выступал ярким защитником традиций классицизма.

12

Журнал «Сын отечества» был основан в 1812 году Н. И. Гречем. В нем принимал участие также Булгарин, которому и принадлежит приведенное Белинским курьезное определение романтизма.

13

Известный альманах – «Полярная звезда», издававшийся А. А. Бестужевым и К. Ф. Рылеевым в 1823–1825 годах. Альманах «Мнемозина» издавался В. К. Кюхельбекером и князем В. Ф. Одоевским в 1824–1825 годах.

14

Замечательна эта мысль Белинского о романтизме как реакции на философский рационализм и на французскую революцию.

15

Тезис о том, что и в безобразном, чудовищном можно найти прекрасное, В. Гюго изложил и аргументировал в предисловии к драме «Кромвель» (1827).

16

«Московский телеграф» был основан Н. А. Полевым в 1825 году. В 1834 году он был закрыт за напечатание неодобрительной рецензии на казенно-патриотическую драму Кукольника «Рука всевышнего отечество спасла».

17

Из басни И. А. Крылова «Лисица и Сурок» (1813).

18

Журнал «Московский вестник», издававшийся М. П. Погодиным в 1827–1828 годах, стоял на позициях шеллингианства и усердно пропагандировал произведения немецких романтиков.

Журнал «Атеней» издавался в 1828–1830 годах профессором Московского университета М. Г. Павловым.

«Галатеея» – московский журнал (1829–1830), издателем которого был поэт и критик С. Е. Раич.

«Телескоп» был основан Н. И. Надеждиным в 1831 году (см. комментарии к

Николай Алексеевич Полевой. В. Г. Белинский belinskiyvissarion.ru
«Литературным мечтаниям», том I наст. изд.).

19

П. А. Вяземский с самого основания «Московского телеграфа» был его деятельным сотрудником. Но уже в 1827 году он охладевает к журналу, что было вызвано расхождением в общественных и литературных взглядах с Н. А. Полевым. Окончательный разрыв между ними произошел в 1829 году, после напечатания Полевым критической статьи о Карамзине (см. примеч. 142), перед памятью которого преклонялся Вяземский. Брат издателя, Ксенофонт Полевой, был постоянным его помощником по изданию журнала.

20

Примирение Полевого с журналом «Сын отечества» (изд. Н. Греч) и газетой «Северная пчела» (изд. Ф. Булгарин) произошло в середине 1827 года и закреплено было весной 1828 года.

21

Белинский намекает на участие в «Московском телеграфе» В. А. Ушакова (см. примеч. 122 в т. I наст. изд.).

22

В «Московском телеграфе» были напечатаны критические статьи о VI главе «Евгения Онегина» (1830, ч. XXXII) и о «Борисе Годунове» (1831, ч. XXXVII, № 2 и 1833, ч. XLIX, №№ 1 и 2). Статья 1833 года перепечатана в «Очерках русской литературы» Н. Полевого, ч. I, СПб, 1839, стр. 145–210).

В рецензии, напечатанной в «Московском телеграфе» (1831, № 17) Полевой обвинил Гоголя в «недостатках слога», «бедности воображения», «в неумении увлечь читателя подробностями». Враждебно-пристрастное отношение Полевого к Гоголю еще больше обнаружилось позднее в его статьях и рецензиях о «Ревизоре» («Русский вестник», 1842, № 1) и «Мертвых душах» (там же, №№ 5 и 6).

23

С конца 1837 года Полевой переехал в Петербург и стал на короткое время негласным редактором «Северной пчелы» и «Сына отечества». Позднее Полевой систематически участвовал в «Северной пчеле» под псевдонимом «ZZ». Помимо участия в названных изданиях, Полевой редактировал в 1841–1842 годах журнал «Русский вестник», не имевший никакого успеха.

24

Сдержанный тон этого упоминания о драмах и повестях Полевого, видимо, связан с его недавней смертью.

25

Белинский отмечает здесь основную порочность «Истории русского народа» Полевого – ее эклектизм и некритическое использование выводов западноевропейских историков для объяснения русского исторического процесса. Позднейший труд Полевого, упомянутый Белинским, – «Русская история для первоначального чтения» (ч. I–III, 1835).

26

Беспристрастно. – Ред.

27 А. Ф. Мерзляков напечатал в журнале «Амфион» (1815) за подписью «Мрзлкв» обширную критическую статью «Россияда, поэма эпическая г-на Хераскова. Письмо к другу» (№ 1, стр. 32–98; № 2, стр. 36–77; № 3, стр. 94–123). В следующих книжках журнала печаталось ее продолжение «О характерах» (№ 5, стр. 81–155; № 6, стр. 1–41) и «О слоге поэмы» (№ 8, стр. 86–115; № 9, стр. 49–128). Статья Мерзлякова глубоко оскорбила всех безусловных почитателей Хераскова, но вместе с тем вызвала появление более строгих разборов «Россияды». В том же 1815 году в журнале «Современный наблюдатель российской словесности» (№ 1, стр. 9–38; № 3, стр. 71–82) были напечатаны «Письма о русской словесности. О «Россияде», поэме г. Хераскова. Письмо к девице Д.», подписанное «Стр.» (то есть П. Строев, издатель журнала).

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://belinskiyvissarion.ru/> Приятного чтения!
<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.
<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.
<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография
<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!